

Этьен Балибар

ЧТО В ВОЙНЕ?

ПОЛИТИКА КАК ВОЙНА, ВОЙНА КАК ПОЛИТИКА¹

Под этим шекспировским заголовком мне бы хотелось обратиться к нескольким точкам пересечения между дискурсами, которые традиционно ассоциируются, с одной стороны, с политической философией, а с другой — с философской антропологией. Но мне кажется, что эти вопросы лучше всего рассматривать, когда общие категории и концептуальное наследие философий прошлого сталкиваются с требованием интерпретации и понимания текущих ситуаций. И ситуация, в которой мы оказались сегодня, — ситуация, связанная с «крайним» насилием и одновременно поднимающая вопрос относительно нашей способности понимания и нашей готовности и возможности действовать индивидуально и прежде всего коллективно, то есть политически, — и есть «война». Мы работаем в тени «войны», в которую прямо или косвенно вовлечены наши страны, хотя, возможно, мне следует сказать, что мы живем в условиях продолжающейся войны, возможно, даже начала новой: это составляет часть проблемы, и ее невозможно решить заранее, хотя она должна быть разрешена в реальности, особенно в рамках философского дискурса или исследования. И эту особую совокупность вопросов, связанных с реальностью, особенности войны, мне бы хотелось рассмотреть, дабы представить философскую проблему насилия и мира во всей ее полноте, а также ее сложности.

Я говорю об этом во вполне определенный момент времени: шесть с половиной лет спустя после нападений на Пентагон и Всемирный торговый центр, совершенных, как утверждается, «террористической» сетью аль-Каида, спустя шесть лет после официального окончания войны в Афганистане и спустя пять лет после падения Саддама Хусейна, которое, как оказалось, было не окончанием, а началом операций в Ираке. И я говорю об этом во вполне определенном месте: месте исключительной интеллектуальной свободы и международного сотрудничества в американской академии, то есть в Соединенных Штатах Америки. Это, очевидно, означает, что война, которую я собираюсь обсудить здесь, иногда явно, а иногда нет, *эта война*, война, которую

1. Etienne Balibar, «What's in a War? Politics as War, War as Politics», *Ratio Juris*, vol. 21, no. 3, September 2008, p. 365–386.

мы наблюдаем. Мне бы хотелось также соединить обсуждение этой войны с рефлексией другого рода, касающейся понятия войны (и некоторых связанных с ним понятий: понятия мира, понятия насилия, понятия политики и так далее). Поясню вкратце, почему я отдаю предпочтение этой нечистой, несовершенной процедуре. Конечно, у меня есть собственные суждения касательно этой войны: ее легитимности, ее причин и происхождения, ее непосредственных или возможных последствий в будущем. Это неизбежно: война, возможно, больше, чем любое другое событие, представляет собой ситуацию, которая лишает нас возможности быть нейтральными (или, скорее, ситуацию, сам «нейтралитет» относительно которой является суждением и позицией). Большинство теорий войны, по крайней мере в философии, предполагает позицию против войны вообще или определенных форм войны. Но некоторые из них, тоже в философии, сопряжены с оправданием войны.

Я не собираюсь здесь заниматься простым обсуждением *справедливости* или *обоснованности* нынешней войны при помощи более или менее проработанного, более или менее спорного анализа ее специфики по причине, которую я, если можно так выразиться, считаю своим философским *point d'honneur*. Мне кажется, что многие, если не все, нынешние дискуссии на самом деле оказываются полностью или частично затуманенными из-за предварительного вопроса, который остается совершенно неразрешенным, когда дело касается уроков войны или извлечения следствий или предложения альтернатив, а именно простого вопроса: *что такое „война“?* Я попытаюсь показать, что речь здесь идет не об игре словами, чисто номиналистическом упражнении, что это напрямую влияет на наши суждения относительно текущей ситуации и исторические ограничения, которые она обнажает. И я попытаюсь начать прояснение этого вопроса (не более того), перейдя от наблюдения и оценки нынешней «войны» к обсуждению того, является ли происходящее «войной» и в каком смысле, постоянно переходя в самой нестрогой манере от одного уровня к другому. Конечно, в этом вопросе нет ничего нового; наверное, он всегда присутствовал в рассуждениях о войне, даже когда Фукидид писал «Историю Пелопонесской войны» или Толстой — «Войну и мир». Но он кажется особенно неясным теперь, в особенности из-за сложностей, которые проистекают из антиномичных отношений между понятиями «войны» и «мира», ставших очевидными гораздо позднее, чем случились войны, названные «мировыми», в нынешнюю эпоху «глобализации» и «космополитики». Я приведу примеры этих сложностей. При их рассмотрении я пытаюсь оставаться верным определенной «практике философии», которая, надеюсь, является критической и которая, можно сказать, наконец, столкнулась со своим основным объектом. Я попытаюсь последовательно рассмотреть три идеи, прекрасно зная, что каждая из них заслуживает гораздо более подробного изучения: 1) вопрос о названиях, именовании и классификации «войн», который подводит нас к проблеме идеального типа того, что мы называем «войной»; 2) принимая во внимание, что отсылки к Клаузевицу продолжают играть решающую роль при рассмотрении характера современных войн, хотя и объясняя лишь, в чем они «новы» или нарушают границы того, что принято счи-

тать войной, я обращаюсь к некоторым вопросам, связанным с текущей «войной», если ее вообще можно считать таковой в клаузевицевском смысле; 3) это естественным образом подведет меня к изучению противоположного аспекта: в каком смысле, как утверждали некоторые авторы, современные войны (которые они продолжают называть «войнами») являются радикально *не-клаузевицевскими* и требуют совершенно нового теоретического подхода с юридической, исторической и антропологической точек зрения, а также насколько все это применимо к текущим событиям.

1. НАЗВАНИЯ И ТИПЫ

Войнам дают названия — иначе и быть не может. Чаще всего названия им по прошествии времени давали историки, что означает, в частности, что названия им дают, когда их считают завершившимися, законченными (отметим, что понятие «конца», по-видимому, почти неотделимо от понятия «войны», которая является конечным по своей сути процессом). Их именуют по отдельности или всем скопом, скажем, Войны Алой и Белой розы или Пунические войны, Наполеоновские войны. Но у них редко бывают бесспорные и недвусмысленные названия, в частности, потому, что историки или — шире — те, кто дает войнам их названия, принадлежат к одной из воевавших сторон или идентифицируют себя с одним из соперников: так, русские назовут «Отечественной войной» то, что французы называют *Campagne de Russie*, а вьетнамцы будут назвать «освободительной войной» то, что американцы называют «вьетнамской войной». Если бы победила Конфедерация, тогда то, что теперь американские историки называют «Гражданской войной», сохранило бы название «Войны за отделение» (такое название до сих пор используется во французских учебниках) или, возможно, стало бы второй «Войной за независимость».

Это также может отражать разногласия относительно границ войны. Речь идет о проблеме *именования события* вообще, а война в каком-то смысле является архетипическим «событием» в истории, по крайней мере в национальных историях, и мы знаем, что назвать событие — значит в то же самое время решить, что событие существует, действие, в котором субъекты сами являются частью объекта, который они рассматривают. Это сопряжено со сложными отношениями между актом перформативного *объявления войны* и ретроактивной квалификацией, которая *дает войне надлежащее имя*, тем самым (хотя бы отчасти) определяя ее значение (не всегда навечно). В идеале войны объявляются (что происходит далеко не всегда), но не под своим именем: может, король Англии и объявил войну королю Франции, но он не объявил «Столетней войны», а Франция и Британия не объявляли «Второй мировой войны» Гитлеру и нацистской Германии после вторжения в Польшу. Но здесь речь идет о признании историчности войны. Нынешней войне в Ираке едва ли можно дать точное название, если не называть их первой и второй «американо-иракскими войнами», потому что неясно, следует ли считать ее эпизодом в «войне с террором», которая была объявлена президентом Соеди-

ненных Штатов после 11 сентября (к этому словосочетанию, которое некоторые считают «метафорическим», я вернусь позднее), позднее распространившейся на противостояние, потенциально включающее несколько стран в «ось зла», или специфической, локальной войной, в частности, «завершением работы», начатой отцом нынешнего президента во время операции «Буря в пустыне», также известной как «Война в Заливе», и потому что после официального объявления о «выполнении миссии» теперь также неясно, когда и где она закончится. Формы сопротивления со стороны противника не прекратились, появилось новое сопротивление, а сама война имеет черты внешней и гражданской войны. Пространственные границы, в которых она разворачивается («театр военных действий») нельзя установить заранее: они могут включать Ирак и Афганистан, другие части Ближнего Востока, Ливан, Сирию, Иран или Пакистан, и другие западные или северные страны (которые последовательно покидают Ирак, но не Афганистан). В частности, они могут включать палестино-израильский конфликт, когда временные, пространственные и политические границы войны в какой-то момент будут казаться совершенно отличными от того, чем они кажутся большинству западных наблюдателей, но, вероятно, не общественному мнению в арабском мире в целом. Это может зависеть, в частности, от трудного, возможно, даже невозможного решения относительно проблемы «привилегированных» отношений между Израилем и Соединенными Штатами: являются ли они союзными странами с реальным суверенитетом, например, США и Саудовская Аравия, или же Израиль на самом деле выступает в роли наместника американской империи с ограниченной и условной автономией.

Но за вопросом об именовании войны в смысле присвоения ей имени или названия, в сложных отношениях между объявлением и описанием, стоит еще более важный вопрос — вопрос об именовании войны войной, то есть о придании ей качества войны. Не всякая война признается войной, и очевидно, что этот вопрос имеет решающее политическое значение, поскольку иногда в какой-то момент или постфактум по ряду причин, связанных со степенью вовлеченности или правовым статусом противников — или и с тем, и с другим вместе, — что-то, что раньше не называлось войной, становится ею. И, возможно, нам также придется рассмотреть обратный случай — «войны», которые на самом деле не были войнами. Это можно понять на следующих примерах: возьмем впечатляющий семантический пример того, что теперь (по крайней мере во Франции) известно как *La guerre d'Algerie* — во время войны и после нее ее никогда официально не называли войной (хотя участвовавшие в ней солдаты, конечно, считали ее таковой), потому что считалось, что население Алжира было частью французской нации, а алжирское сопротивление (по-арабски — моджахеды) состояло из банд мятежников, террористов и преступников. У Бертрана Тавернье есть интересный фильм, который показывает последствия этого отрицания, под названием *La Guerre sans nom*, «Война без имени». Но на самом деле у нее было кодовое название: «les evenements», «события». Редко бывает, чтобы неназванная война не получила одного или нескольких других названий, которые действуют как отрицание или способ

избегания некоторых обычных или юридических следствий из факта ведения войны с точки зрения внутренней политики или международного права, вроде рассмотрения пленных в качестве «военнопленных», заключения мирного соглашения и так далее. Но здесь мне бы хотелось особенно подчеркнуть последствия того факта, что международное право в XX веке крайне осложнило называние войны войной или признание существования войн, которые, несмотря ни на что, идут во многих частях света, причем довольно часто.

Это является следствием того факта, что после Пакта Бриана-Келлога в 1928 году война была объявлена «незаконным» средством преследования национальных интересов и разрешения конфликтов, а Организация Объединенных Наций, согласно ее Уставу, наделена привилегией (либо прямо, через свой «генеральный штаб», либо косвенно, наделяя соответствующими полномочиями определенные государства) предпринимать «действия», связанные с «применением военной силы» против агрессоров, «нарушающих мир», для принудительного «восстановления мира», не называя при этом такие действия войной, по крайней мере официально. Единственное исключение составляет «законная защита» от агрессии, представляющей угрозу, которая одновременно является прямой и опасной для жизни. Это, конечно, создает некоторую неразбериху, не говоря уже лицемерии. Это также поднимает вопрос, к которому я еще вернусь, кем являются «субъекты» войны и насколько политическая идентичность этих субъектов определяет природу войны.

Переходя к рассмотрению текущей ситуации, можно увидеть, что словосочетание «война с террором» или еще более удивительное «война с террором без предсказуемого конца», особенно если вместе с такими понятиями, как «государства-изгои», поддерживающие терроризм, ставит сложный, возможно даже ключевой вопрос. С одной стороны, это словосочетание приводит к искажению некоторых проблем, связанных с юридическим понятием войны, а с другой — оно поднимает их на более высокий уровень. Нет никакого сомнения в том, что (необъявленная) война против Ирака или иракского режима в апреле 2003 года была незаконной с точки зрения международного права, поскольку она велась вопреки воле большинства членов Совета Безопасности, даже если затем она была легализована, когда год спустя Совет Безопасности наделил Соединенные Штаты, Британию и других союзников статусом «оккупационных сил». Но терминология «войны с террором» меняет эту внешне простую ситуацию. С одной стороны, она добавляет неразберихи в употребление понятия «войны». За это она критиковалась различными сторонами, хотя и по разным причинам. Одни (к примеру, немецкий философ Юрген Хабермас) утверждали, что нельзя назвать войной действия, хотя и насильственные и принудительные, направленные против преступных личностей и групп, которые представляют угрозу для гражданского населения в различных странах, даже если они совершают массовые убийства, поскольку это дает им статус законных противников, которые могут быть признаны в качестве таковых. (Bogradori 2003, 34–35). Другие, напротив, настаивали, что использование термина «терроризм» или, скорее, определение врага как «террориста» сопряжено с дисквалификацией врага, созданием «абсолютного

врага» (в шмиттовском духе), против которого можно без стеснения использовать все средства, прибегая к контртеррористическим мерам или государственному терроризму, и в безграничном расширении определения, стирающем различие между мирным населением и боевиками, своими гражданами и иностранцами и так далее. Но эти гиперболизированные выражения также могут быть поняты иначе, и я рассматриваю их именно в том смысле, который им хотелось бы придать американской администрации: они показывают, что привычные определения «войны», которыми традиционно именовались или отрицали свои именованья войны, больше не действуют или оказываются бесполезными, потому что угрозы уничтожения или просто посягательства на население и интересы государств и обществ (или, возможно, *определенных* государств и обществ, считающих себя «демократическими») исходят не от других государств, а от сочетания враждебных государственных и негосударственных сил, с которыми, однако, нужно бороться с применением войск. Это не снимает вопрос о правовом и ином статусе «войны с терроризмом», а также вопрос о средствах, которые можно использовать в ней со стратегической, правовой и моральной точек зрения, но это указывает на проблему исторической и социологической реальности войны, которую нельзя свести к ее правовому определению и которая проявляется в сложности именования войн, не только присвоении им имени собственного, но и наделении их общим именем войны. Думаю, к этой проблеме следует отнестись со всей серьезностью, даже если мы не согласны с решением, предлагаемым дискурсом «войны с терроризмом», и ищем альтернативные решения.

Возможно, нам следует сказать, что *поскольку война – это институт* (и я еще вернусь к этому), *всегда должно существовать юридическое определение* с более или менее обязательными следствиями, которое является частью политического процесса объявления войн, их ведения и руководства ими, попыток остановить или даже искоренить их либо снять с них запрет, но поскольку всякий институт имеет исторический характер, всегда должна существовать *дистанция* между идеальным, юридическим или квазюридическим типом войны или реалий, схожих с войной, которые обнаруживают либо *избыточность*, либо *недостаточность* по отношению к идеальному юридическому типу. И, возможно, существуют исторические обстоятельства, ситуации, когда дистанция настолько велика, а сложность определения и именования войны в качестве таковой становится настолько значительной, что требуется *изменение самого понятия войны* или как можно более полного прояснения (мы никогда не можем быть уверены, что полное прояснение возможно) неясного феномена, обнаруживаемого нами под именем «войны». Возможно, это будет означать, что нам нужно изменить другие понятия, тесно связанные с самой «войной» или зависящие от нее, вроде государства, нации, армии, международного права и так далее. Подобные разговоры, которые можно услышать сегодня с разных сторон, чаще всего ассоциируются с новыми качествами современных политики и общества после окончания «холодной войны», после нового развития глобализации, после появления ненациональных, транснациональных или постнациональных участников и коллективных

сил, такими же типичными представителями которых, как и неправительственные организации или многонациональные корпорации, можно считать и «террористические сети». Говорят, что они имеют одну общую черту, которой является упадок *государственных сил* и возвышение *частных* или «негосударственных» в области политики и истории, что в случае с «войной» кажется чуть ли не противоречием в терминах, по крайней мере с точки зрения идеально-типических войн. Я полагаю, что мы не можем анализировать роль войн и квазивойн в исторической ситуации, в которой мы находимся, или принимать посылки и рассматривать последствия посылок, которые мы принимаем, не рассмотрев этих крайне спекулятивных вопросов.

Теперь нужно сказать несколько слов о *типах*, *типологиях* и, следовательно, классификациях войн. На самом деле проблема именования и проблема классификации тесно взаимосвязаны — это две стороны одной проблемы. Начиная размышлять о способах классификации «войн» или рассматривать развитие и историю войн в энциклопедиях и трактатах по «полемологии»², сразу вскрываются две вещи. Во-первых, типологии войн часто (если не всегда) принимают форму дихотомий, связанных с ценностными суждениями, точнее, с разграничением между нормальной и нормативной формой войны и ее чрезмерными, извращенными или выродившимися формами, которое также может быть полностью перевернуто. Во-вторых, постоянно изобретаются или предлагаются историей новые типологии и, следовательно, новые дихотомии, а их перечень становится почти бесконечным и даже избыточным. Вспомним такие дихотомии, как *войны между государствами* (или — шире — *суверенными политическими образованиями*, вроде городов и империй) и *гражданские войны* (имеющие место внутри политических образований); *война* и *революция* (несмотря на существование «революционных войн»); *объявленные* и *необъявленные войны*; *регулярные* или *конвенциональные войны* и *партизанские войны* (которые в какой-то момент оказываются неотличимыми от терроризма или того, что считается таковым); *война* и *преступление* или *вендетта* — «частные войны»; *примитивные*, «варварские», *племенные* или *этнические войны* и *цивилизованные войны*, которые являются также *политическими* или *законными*; *религиозные войны* (или «джихад», «крестовые походы» и так далее) и *светские войны*; *национальные войны* и *колониальные войны*; *завоевательные* или *агрессивные войны* и *оборонительные* или *освободительные войны*; *ограниченные войны* (которые касаются солдат — профессиональных или поставленных под ружье простых граждан — военных сооружений) и *тотальные войны* (которые обычно нацелены на гражданское население и направлены на разрушение его жизненной среды); *открытые* или *тайные войны* и т. д. Я уже сказал, что постоянно добавляются новые дихотомии, но некоторые из них обладают семейными сходствами с прежними разграничениями. *Глобальные войны* и *локальные*

2. Это слово, судя по всему, было изобретено французским социологом Гастоном Бутулем, а обозначает оно тип исследований, появившийся в результате попытки международных институтов поставить войну под контроль и, по мере возможности, искоренить ее после Первой и Второй мировых войн; пожалуй, первой и крупной его наглядной иллюстрацией является книга Куинси Райта (Wright 1965).

войны; конфликты «высокой» и «низкой интенсивности»; «войны стержневых стран» и «войны на линиях разлома» (Сэмюель Хантингтон); «старые» и «новые» войны (Мэри Калдор, Герфрид Мюнклер) и так далее.

Короче говоря, моя гипотеза заключается в том, что все эти дихотомии, которые являются нестабильными и неопределенными с правовой, исторической или социологической точки зрения, должны иметь дело с центральным и апоретическим вопросом *коллективного института насилия*, который является едва ли не главной антропологической проблемой. И именно на этом уровне мы и должны работать, если мы хотим разобраться в нынешней неопределенности с употреблением слова «война» в связи с текущими событиями. Но это подводит меня к следующим замечаниям, которые, надеюсь, окажутся полезными для дальнейшего обсуждения. Во-первых, хотя эти дихотомии, как я уже сказал, явно имеют ценностную подоплеку и ведут к выделению идеального или регулятивного типа войны, мы полагаем, что их реальное использование показывает, что в войне содержится элемент, связанный с ее отношением к насилию, который *остается неконтролируемым* или, точнее, связывает суть войны с избыточностью средств по отношению к их гипотетической цели, вследствие чего война превосходит свои собственные определения и сущность. *Важность этих дихотомий состоит не в том, что они устанавливают пределы, а в том, что они позволяют приблизиться к феномену их трансгрессии*, в том, что они указывают на важный феномен, позволяющий увидеть *антиномию этого института, неспособного соблюдать правила этого института*, и это появляется только тогда, когда противоположности меняются местами и смещаются. «Истинной формой» *государственных войн* была бы *гражданская война*, которая является «чистой» войной, неcodифицированной и неограниченной, возможно, в форме «международных гражданских войн», которые, по мнению некоторых теоретиков, были отличительной чертой XX столетия и, судя по всему, так и не пришли к своему завершению; «истинной формой» ограниченной войны является *тотальная война* и так далее.

Но это подводит нас ко второму моменту: дихотомии (и стоящий за ними идеальный тип войны) тесно взаимосвязаны с телеологией прогресса и потому являются глубоко европоцентричными («европоцентризм» понимается здесь в широком смысле, включая также Америку). Можно утверждать, что дихотомии очерчивают направление развития института, вследствие которого войны становятся все более прогрессивными или более интегрированными в правовую и политическую ткань общества, и что с развитием современности войны в результате прогресса в средствах разрушения, отражающего прогресс производственных технологий, а также усиление, массовизацию и расширение возможностей манипулирования коллективными страстями, становились все более убийственными и жестокими. Но, повторяюсь, возможно, это глубоко европоцентричное представление, которое происходит из того обстоятельства, что «феномен войны» рассматривается исторически и юридически с точки зрения евроамериканского центра, без учета периферии, где с самого начала европейской экспансии в необъявленных войнах широко использовались геноцид и террор, а объявления войн

не происходило из-за отсутствия признанного «врага», особенно учитывая сочетание прямой войны и косвенных форм истребления, вроде распространения завезенных болезней, последствий разрушения окружающей среды и традиционных социальных связей и так далее. Это ставит проблему взаимодействия «преднамеренных» и «непреднамеренных» элементов во всестороннем антропологическом рассмотрении институционального насилия.

2. «КЛАУЗЕВИЦЕВСКИЕ» ВОЙНЫ И РАЗВИТИЕ ВОЙНЫ

Теперь я сделаю несколько замечаний по поводу Клаузевица и возможного применения некоторых его идей к текущей войне, так как среди недавних авторов стало едва ли не общим местом объяснять, что конфликты и война в сегодняшнем мире (особенно в сегодняшнем глобализованном мире) сделали его идеи бесполезными. Считается, что Клаузевиц нарисовал идеально-типическую картину войны в особенно чистом виде и что она обычно вступает в противоречие с современными конфликтами. Об этом прямо говорят некоторые авторы, на которых я буду опираться далее, вроде Мартина ван Кревельда или Мэри Калдор, и я признаю, что в этом есть немалое зерно истины, связанное с тем обстоятельством, что клаузевицеское понятие войны (включая его идею отношений между войной и политикой, выраженную в известной формуле: «политика — это продолжение войны другими средствами») целиком остается связанным с идеей, что в строгом смысле война, в отличие от «частных» или «примитивных» форм коллективной борьбы и насилия, является конфронтацией между государствами, точнее, национальными государствами, в которой людские и материальные ресурсы государств мобилизуются для взаимного уничтожения в форме специализированного военного института, находящегося под контролем политической власти, которая, как выразился позднее Макс Вебер, обладает «монополией на легитимное физическое насилие». Клаузевиц принадлежит к другой исторической эпохе, структура которой теперь серьезно, если не полностью, разрушена (речь идет о европейском национальном государстве); и при объяснении форм и значения современной войны его теория служит, скорее, контрпримером, описанием того, что уже не имеет значения. Но в этом случае за ним все еще сохраняется привилегированное положение.

Но так ли все просто? Действительно ли клаузевицеское представление о войне во всех своих аспектах совершенно бесполезно для интерпретации текущих войн и, прежде всего, для *постановки вопросов*, которые определяют их интерпретацию? И не стоит ли нам перед тем, как перейти к обсуждению аспектов современных войн, которые превосходят или ниспровергают любую классическую «клаузевицескую» форму, проверить, что она может сказать нам о том, в каком смысле нынешняя война является войной?

Одной из причин того, почему я считаю, что из прочтения Клаузевица можно извлечь *диалектический* элемент, который не ограничивается «институтом войны» его времени, является то обстоятельство, что сами по себе размышления Клаузевица о «природе войны» основывались на переходе

от одной эпохи к другой, где политические формы коллективного насилия переживали революционные преобразования. Это был переход от династических государств и династических войн (конфронтации XVIII столетия между соперничающими державами в рамках «европейского равновесия») к собственно национальным войнам, вызванным Великой французской революцией и наиболее ярко проявившимся в «наполеоновских войнах», преподавших двойной урок: действенное преобразование революционного импульса, то есть историческое появление народа как политического субъекта, в военную мощь, которую Бонапарт мог использовать для своих завоеваний, и объективные причины его окончательного поражения после неудачной попытки поработить Российскую империю.

Идея Клаузевица, имеющая прямое отношение к тому, что было сказано мной о значении дихотомий, связанных с войной, для понимания ее развития, заключается в том, что с появлением народных армий, мобилизованных современными государствами (которые в этом отношении, какими бы бюрократическими и авторитарными они ни были, воплощают значительный «демократический» элемент), и их противостоянием, впервые появилась возможность приблизиться к форме «абсолютной войны». Это означает, что можно наблюдать ситуации, когда антагонизм «обостряется до предела», то есть когда существует риск уничтожения для достижения стратегической цели, которая состоит в том, чтобы «обезоружить врага, лишить его возможности сопротивляться» и «заставить его выполнить [вашу] волю». Это не чистый «идеал», и он не может быть воплощен в полной мере в любых обстоятельствах. Эти обстоятельства и их влияние на основную тенденцию должны быть учтены в самой теории, они не являются внешними: речь идет не о замене «идеальной» модели войны более «реалистической», а о развитии диалектических противоречий процесса, который впервые стал исторической реальностью³. Конечно, когда Клаузевиц говорит об «абсолютной войне», наиболее близкой к которой в реальности являются национальные войны, направленной на причинение предельных разрушений, он имеет в виду не «тотальную войну», вроде колониальных войн или двух последующих мировых войн или вьетнамской войны, войны, где все еще сохранялось различие между военными и гражданскими, каким бы страданиям ни подвергалось гражданское население. Но поскольку «армия», уничтожение, расчленение или лишение возможности к сопротивлению которой является главной целью, сама по себе является гражданской армией, нельзя говорить о том, что насилие «ограничивается» или «удерживается» в привычных пределах.

В клаузевицевской теории войны имеются три аспекта, выраженных в известных формулах, которые, как мне кажется, представляют для нас особый интерес.

3. Не вдаваясь в подробное обсуждение эволюции клаузевицевской мысли и имеющихся расхождений между различными частями его незавершенной работы (опубликованной посмертно в 1832 году), я следую здесь недавней интерпретации Эмманюэля Террэ (Terreaux 1999), а не Раймона Арона (Aron 1983).

Первый, к которому я обращаюсь еще раз позднее, касается так называемой дуальности войн: в его представлении различие между войнами, направленными на завоевание территории (или богатства) данного врага, и войнами, направленными на порабощение врага, то есть лишение его политической автономии. Говоря современным языком, мы могли бы разделить завоевание, с одной стороны, и империю — с другой.

Второй момент связан с известной, но часто искажаемой формулой: «война — это просто продолжение политики другими средствами», которая утверждает главенство в войнах политической цели (*Zweck*) перед военной (*Ziel*), но не сводит своеобразие войны к «политической» практике или практике, определяемой политическими целями и следствиями. Напротив, она помогает нам понять, почему особый характер войны, то есть использование разрушительного физического насилия (или, как он иногда пишет, «пульсации насилия») порождает противоречивые отношения, которые колеблются между взаимным слиянием и столкновением политических и военных целей. Способность сформулировать военную цель и политическую цель (или цели) и подчинить первую второй или достичь второй через первую присуща тому, что Клаузевиц называет «государством как единым разумом» или политическим руководством в войнах, — одним из наиболее спорных у него понятий.

Наконец, третий важный момент описывается через механическую аналогию: Клаузевиц называет это «трением», и он обозначает им все элементы, которые на практике приводят к различию между войной как «проектом», простой «стратегической игрой», и реальной войной. Трение — это, по сути, следствие протяженности, того факта, что война всегда занимает время, что практически не бывает так, чтобы война «состояла из одного удара, не имеющего протяжения во времени», но непредсказуемые или непредвиденные обстоятельства войны, сопротивления, переноса «театра военных действий» и нарастание внутренней слабости национальных субъектов ведут к увеличению продолжительности войны или установлению интервала времени, определяемого его собственными событиями. Это тесно связано с одним из наиболее известных тезисов Клаузевица, а именно — о стратегическом (если не тактическом) превосходстве обороны перед наступательной войной, которое проистекает из того факта, что наступление (т. е. вторжение на чужую территорию) постепенно утрачивает свое преимущество первого удара. Это, конечно, справедливо *ceteris paribus*, т. е. в зависимости от множества условий, всякий раз специфических, и только в долгосрочной перспективе, то есть с учетом общей продолжительности войны.

Пожалуй, наиболее важным и наиболее трудно сводимым к простым принципам является артикуляция этих последних двух идей, то есть влияния напряженных отношений между политическими и военными целями на «трения», собственно, продолжительность войны, и наоборот. Можно сказать, что в этом вопросе Клаузевиц остановился на полпути (но некоторые из его более поздних читателей пытались развить его идею до конца применительно к своим собственным целям; я имею в виду прежде всего таких марксистов, как Ленин и Мао Цзедун), поскольку он, по-видимому, полагал,

что отношения между политикой и войной всегда действуют только в одном направлении. Судя по всему, это было следствием того обстоятельства, что Клаузевиц постулировал рациональность государства (его *intelligence* в обоих смыслах этого слова — разум и разведка) и *полагал, что она всегда заключается в способности государства приостановить войну*, ход которой не позволяет достичь политических целей или угрожает его политической состоятельности вообще, заключив приемлемый компромисс. Он также полагал, что в этом смысле «исход войны никогда не представляет чего-то абсолютно-го» и всегда может быть оспорен. Однако можно утверждать, не отступая от логики его рассуждений, что «общее клаузевицевское» представление об отношениях между политикой и войной предполагает возможность того, что политические факторы меняют условия войны или, напротив, что «трения» войны повлияют на ее политический характер и условия.

Этим также объясняется тот факт, почему со временем относительное разделение средств и целей или процесса выполнения военных задач и достижения определенных политических целей, которым отмечено начало войны, становится абстрактным и нежизнеспособным. Это и есть то, что я называю «диалектическим» элементом, содержащимся в клаузевицевском понятии войны как *политическом* понятии при всей его исторической ограниченности.

Здесь мы можем остановиться и задаться вопросом: каким образом эти идеи можно применить к «войне», вроде той, что США вели на Ближнем Востоке на протяжении многих лет, начальным (возможно, не первым) эпизодом которой стал разрушительный ответ на иракское вторжение в Кувейт, сопровождавшийся эмбарго, непрерывными англо-американскими бомбардировками и инспекциями ООН, которым удалось ограничить способность Ирака к собственному перевооружению; вторым эпизодом которой стало свержение режима Талибана; третьим — вторжение в Ирак и свержение диктаторского режима Саддама Хусейна и партии БААС, а четвертый, начавшийся с оккупации страны, теперь, по-видимому, сочетает противоречивые элементы затянувшейся конфронтации с национальным сопротивлением, а также латентным разделением страны по этническим и религиозным линиям и региональной «гражданской войной». Я не собираюсь делать здесь предсказания или утверждать, что я мог предвидеть события, которые продолжают нас удивлять. Думаю, достаточно просто сказать, что американская война на Ближнем Востоке, в которой также принимают участие многие другие, является «реальной» клаузевицевской войной в важных отношениях. Это долгая война, конец которой не наступит в ближайшем будущем и в которой напряженность между политическими и военными целями порождает все больше «трений», и некоторые из них уже стали очевидными. Основные цели, декларируемые или осуществляемые на деле, а именно — уничтожение баз для террористической деятельности против американских интересов в мире, в том числе на территории Соединенных Штатов, и построение в Ираке демократического государства по западному образцу, которое могло бы способствовать установлению подобных режимов в регионе, а также получение Соединенными Штатами контроля над стра-

тегическими запасами нефти—кажутся трудно- или вовсе недостижимыми; и они во многом противоречат друг другу (возможно, они соответствуют различным замыслам и властным группировкам в американской администрации). С другой стороны, расколотый и деморализованный арабский мир, конечно, неспособен создать политическую и военную силу для сопротивления американскому имперскому проекту, но он вносит свой вклад в различные формы пассивного и активного сопротивления. Это дает время для того, чтобы другие факторы стали определяющими, посредством организованного насилия в достижении политических целей, вроде американского общественного мнения или экономической и финансовой способности поддерживать длительные военные усилия за рубежом, связанные с развертыванием значительных сил. Короче говоря, реальная «клаузевицевская» война—это война с непредсказуемым развитием.

3. НЕКЛАУЗЕВИЦЕВСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЙНЫ

Теперь мне бы хотелось отойти от этой модели и вернуться к вопросу, поднятому вначале в связи с определенными трудностями в юридическом и социологическом значении понятия «войны». Я попытаюсь рассмотреть не только то, что отличает новую войну, которая неизбежно имеет свои особые черты, но также и то, в каком смысле ее можно называть «новой войной» или войной нового типа, которая во многих отношениях—в сравнении с классическими примерами, задававшими «правила игры»,—должна казаться «не-войной». Чтобы придать этим рассуждениям большую обоснованность, я вкратце рассмотрю недавние работы двух признанных специалистов, разделяющих идею, что в последнее время война, которая является как никогда важным и постоянным измерением обществ, в которых мы живем, подверглась радикальным преобразованиям, которые порывают с ее традиционным значением и делают расплывчатые и неисторические разговоры о войне сомнительными. Они описывают эту новизну как феномен, возникший после окончания «холодной войны», и связывают его с глобализацией или новым этапом глобализации, когда традиционное национальное государство (с которым обычно ассоциировалось клаузевицевское представление о природе войны) утрачивает значительную часть своей автономии или «признаки» своего суверенитета (одной из наиболее типичных является способность к ведению внешних войн), тем самым подготавливая почву для появления сил и конфликтов на более широком, наднациональном уровне или на более низком, субнациональном уровне, имеющих различную логику своего развития.

Этими двумя авторами являются Мартин ван Кревельд, профессор политических наук и военный эксперт из Израиля, и Мэри Калдор, венгерско-британский директор Центра по изучению глобального управления при Лондонской школе экономики. Они разделяют важные идеи, одной из которых, если не главной, является признание не только субъективной, но и объективной роли этничности, этнорелигиозных идентичностей и политики идентичности в возникновении, развитии и последствиях «новых войн».

Это также означает, что они учитывают вопрос о различии между «двумя мирами», Севером и Югом или бывшим колонизаторским и бывшим колонизированным миром, но объяснение этого внешне абсолютного различия, усилившегося в результате холодной войны, которая наступила после окончания Второй мировой, все больше размывается и становится второстепенным, когда дело касается войн нового типа. Должно быть, здесь раскрывается нечто важное, что является, возможно, типичной чертой постсовременности. Между ними, конечно, имеются также серьезные расхождения, которые необходимо учитывать; и хотя войны и конфликты, которые они предвидят или описывают, во многом являются «одними и теми же», они не рассматриваются под одним и тем же углом как из-за разницы во времени написания работ, так и из-за различия в дисциплинарных подходах. Ван Кревельд, писавший сразу после краха советского режима в бывшем СССР, занимал «стратегическую» позицию, пытаясь понять, каким образом определенная форма вооруженного столкновения, названная военными экспертами «конфликтом низкой интенсивности» и возникшая во время холодной войны вследствие невозможности проведения ядерных войн, парадоксальным образом смогла пережить окончание холодной войны и вступить в новую историческую эпоху. Калдор, писавшая после войн в бывшей Югославии и в особенности боснийской войны, которую она наблюдала и последовательно изучала, превратив ее из конкретного исследования в объяснительную модель, пыталась описать социологические реалии, возникающие вследствие помещения локальных конфликтов в рамки мировой экономики, которую также можно считать «глобализованной военной экономикой», где «распространение насилия» становится также «нормальной» формой присвоения и обращения богатства. Но эти две идеи во многом дополняют друг друга, потому что они сопряжены с *идеями трансформации отношений между политикой и войной, политикой и насилием* в эпоху после окончания холодной войны или завершения конфронтации между социальными системами, и эту идею можно попытаться использовать для оценки новизны переживаемых нами событий. Я попытаюсь показать, что эти события новы даже по меркам того, что называют новым сами ван Кревельд и Калдор, или что их новизна превосходит то, что они справедливо называли новым в сравнительно недавнем прошлом, то, в чем они видели исторический поворотный момент. Нынешние события как бы обнажают еще один аспект разрыва, который оставался временно скрытым или отсроченным.

Рассмотрим немного подробнее их модели. У ван Кревельда мы начинаем с идеи, что холодная война сделала военное могущество, особенно в его самой развитой технической форме, во многом «нерелевантным». Стратегия «гарантированного взаимного уничтожения» не только исключила использование ядерной бомбы великими державами, но и оставила их по большей части беспомощными перед определенными формами партизанской войны, как в случае с Вьетнамом для США и Афганистаном для СССР. Результат технологических преобразований, а также институционального распределения власти в мире в форме обладания ядерным оружием, состоял не в отмене

обычных войн, а в заталкивании их «в укромные уголки и щели международной системы [...] или в разломы между большими тектоническими плитами, находившимися в сфере влияния сверхдержав» (Creveld 1991, 11–12), в особенности на Ближнем Востоке (хотя эти слова писались еще до того, как Хантингтон ввел свое разграничение между войнами «стержневых государств» и войнами на «линиях разлома»). Но именно на Ближнем Востоке, «в одном из самых бурных регионов, пропитанных неукротимой ненавистью и смертельным фанатизмом» (ibid., 15), происходит распространение ядерного оружия, начиная с создания Израилем ядерной бомбы и последующих действий некоторых его соседей в этом направлении. Однако основная форма, которую принимают кровавые и длительные войны, состоит в том, что стратеги в эвфемистической манере называют «конфликтами низкой интенсивности», которые не достигают крайности технической войны. Они размывают различие между регулярными армиями и партизанскими или террористическими силами или даже между военными и гражданскими, внешней войной и гражданской войной; они концентрируются в третьем мире или на Юге, за чертой бедности, разделяющей мир, хотя и здесь есть свои исключения (Северная Ирландия); и даже не беря в расчет такие кровавые конфликты, как ирано-иракская война 1980-х, которую нельзя считать в полной мере обычной войной, на них приходится больше всего смертей, разрушений и жертв после 1945 года. Они также показывают, что достижение преимущественно негативных политических результатов не является автоматическим следствием лучших вооружений. Эти войны не являются клаузевицевскими в том смысле, что после превращения фашистскими режимами, в особенности нацистским государством, «абсолютной войны» или «народной» войны в «тотальную войну», *тотальная война с крайними проявлениями выходит теперь из-под контроля самих государств*, отменяя институциональные «регулярные» отношения между правительствами, армиями и народами (ibid., 58) и, как правило, мобилизуя так называемые «меньшинства» (этнические или религиозные, либо и те, и другие) в самих государствах, которым они стремятся бросить вызов, если не разрушить их.

Ван Кревельд приходит к выводу, что «по мере приближения к концу второго тысячелетия, попытки государства монополизировать насилие в своих руках выглядят все более неуверенными» (ibid., 192), и доходит до пророчества, что, «если его не остановить, распространение конфликтов низкой интенсивности может положить конец государству. В долгосрочной перспективе место государства будет занято различными организациями, ведущими войны» (ibid.). Развивающийся процесс символически можно описать как возвращение гоббсовского «естественного состояния» (об этом сегодня кто только не говорит), но его можно также описать как распространение «терроризма» и «контртерроризма» за счет традиционной войны, в которых привычные разграничения между военными и гражданскими, то есть, *en passant*, основной критерий, определяющий применение «законов военного времени» и соответствие «справедливых войн» методам их ведения (*jus in bello*), больше не действуют. Это также означает исчезновение «стратегии»

в традиционном смысле, которая заменяется теперь «смесью пропаганды и террора» (*ibid.*, 207).

Судя по опыту последних двух десятилетий, образы масштабной, компьютеризированной, высокотехнологичной войны, столь милые сердцу военно-промышленного комплекса, так никогда и не воплотятся в жизнь. Вооруженные конфликты будут вестись людьми на земле, а не роботами в космосе. Они будут больше похожи на борьбу примитивных племен, чем на масштабную привычную войну, вроде тех, что мир мог наблюдать в последний раз в 1973 году (арабо-израильская война), 1982 году (Фолкленды) и в 1980–1988 годах (ирано-иракская война). Поскольку воюющие стороны будут смешиваться друг с другом и с гражданским населением, привычные понятия клаузевицевской стратегии окажутся в этом случае неприменимыми... Война не будет вестись в открытом поле хотя бы потому, что во многих местах в мире нет уже больше открытых полей. Ее обычной мизансценой будет сложная среда, либо созданная природой, либо — еще более сложная — созданная человеком. Это будет война средств слежения и заминированных автомобилей, мужчин, убивающих друг друга в соседних кварталах, и женщин, использующих свои сумочки для транспортировки взрывчатки и наркотиков, чтобы заплатить за первую. Эта война будет затяжной, кровавой и ужасной. (*ibid.*, 212)

Ван Кревельд признает, что это — спекуляции или, лучше сказать, экстраполяции из определенных текущих тенденций. Но вывод, который он делает, основываясь на них, касается политической и моральной необходимости коллективных усилий для противостояния постоянной опасности войны, которая, как он говорит, «жива и здорова», хотя и переживает «революцию», касающуюся не вопроса вооружений или гонки вооружений, а самих социальных структур (*ibid.*, 223).

Со своей стороны Мэри Калдор пытается рассмотреть «организованное насилие нового типа», которое появилось после распада бывших империй или многоэтнических государств в Восточной Европе, особенно бывших СССР и Югославии, но она также приводит примеры с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В сравнении с ван Кревельдом, она гораздо менее категорична в утверждении, что это единственный тип войны, который можно теперь себе представить, но она все же рисует альтернативные картины будущего, основанные на «различиях в восприятии природы современного насилия» (Kaldor 1999, 141), а это значит, что проблема, стоящая теперь перед человечеством, заключается в борьбе с «новыми», а не «старыми» войнами. Ей хочется сохранить слово «война» для того, чтобы «подчеркнуть политическую природу насилия нового типа» (*ibid.*, 2), одновременно показав, что новые войны сопряжены с размыванием традиционных различий между войной, организованной преступностью и масштабными нарушениями прав человека (вроде геноцида). Она стремится дистанцироваться как от понятия «конфликта низкой интенсивности», которое делает слишком большой акцент на локальном характере войн, так и от понятия «вирту-

альных» войн, которое справедливо подчеркивает то обстоятельство, что новые войны инсценируются СМИ и воспроизводятся при помощи коммуникационных процессов, но недооценивает реальность физического насилия, с которым они сопряжены.

Наконец, она утверждает, что новые войны, цели которых связаны с политикой идентичности, особенно с насильственным разделением смешанных поселений и культур и терроризированием групп (преимущественно городских), которые не сдаются перед этническим и религиозным фундаментализмом, являются продуктом и аспектом глобализации, что проявляется в использовании ими средств коммуникации и финансировании вооружений, а также в последствиях, которые они за собой влекут, например, гуманитарных вмешательств с их специфическим правом и органами, которые охватывают теперь весь мир по образцу традиционных органов ООН. Они соответствуют «эрозии» монополии государства на легитимное насилие сверху и снизу (*ibid.*, 4), а также со стороны процесса «приватизации» войны и насилия. Их методы ведения войны основываются на сочетании партизанских действий, практиковавшихся освободительными движениями в XX веке, и контрповстанческих методов дестабилизации, разработанных неокOLONIALНЫМИ армиями и государствами, так как их цель состоит в том, чтобы контролировать население, не «завоевывая умов и сердец», то есть не создавая народной общности, а сея «страх и ненависть», перемещая население, терроризируя друзей и врагов, систематически проводя геноциды и этнические чистки. Они заменяют идеологическую или политическую лояльность верностью символу, нападая также на членов неправительственных организаций, которых Калдор называет представителями «космополитизма снизу». Они не только избегают боевых столкновений и нападают преимущественно на гражданское население, но и создают то, что Калдор называет «грабительской социальной средой» (*ibid.*, 107ff.) внутри и вокруг военных зон, которые включают торговлю оружием и наркотиками и изъятие продуктов питания и других полезных вещей у неимущего населения. В этом отношении они вносят важный вклад в развитие неформальной параллельной экономики.

Все это ставит проблему политического ответа. Правительства и международные организации оказались не в состоянии справиться с масштабом проблемы, несмотря на провозглашение «права на гуманитарное вмешательство» и принципы международного права, постоянно нарушавшиеся самими сторонами. Отталкиваясь от опыта миссий по установлению и поддержанию мира, Калдор ведет поиск решения в направлении замены «дипломатии сверху», занимающейся «космополитическим правоприменением», которое представляет собой «нечто промежуточное между несением военной службы и выполнением полицейских задач» (*ibid.*, 125), подчиняя применение силы соблюдению принципов согласия со стороны жертв, занимая позицию беспристрастности, а не нейтралитета, опираясь на применение минимальной, а не подавляющей силы (в этом состоит различие между «британским» и «американским» способами вмешательства), а также сочетая политическое и материальное восстановление гуманитарной медицинской и продоволь-

ственной помощью. Движение в этом направлении, начиная с практических целей и соединения новых участников, представляющих «гражданское общество», с традиционными государствами, позволило избежать нигилизма эпохи нового варварства, наступившей после глобальных войн XX столетия, рассмотреть возможности политического сдерживания новых войн и предложить нормативную альтернативу картинам будущего мировой безопасности, предлагаемым с позиций «столкновения цивилизаций», воссоздающего враждующие блоки на основе соперничающих идентичностей» или нового гоббсовского «естественного состояния» (глобальной анархии), требующего появления такой же глобальной инстанции авторитарного террора. «Развитие космополитических форм управления» в кантианском смысле слова, опирающееся на динамизм гражданского общества и способствующее демократизации международных институтов, по ее мнению, «является реальной возможностью», хотя нельзя исключить, что война, которая является столь же анахроничной, как рабство, будет постоянно изобретаться заново.

Я уделил такое внимание анализу ван Кревельда и Калдор не только потому, что они предложили самые серьезные попытки осмысления эпохальных изменений в природе войны, но еще и потому, что они позволяют нам показать, в сравнении, чего им предвидеть не удалось и что обнаружила американская война с террором (достигшая своей наивысшей на сегодняшний день точки в продолжающемся вмешательстве на Ближнем Востоке). Хотя теперь кажется, что эти новые черты появились благодаря тому, что после окончания холодной войны одна из сверхдержав сохранила мощную, постоянно растущую военную машину, не ограниченную договоренностями о контроле над вооружениями и их сокращении, сама по себе такая новизна осталась во многом непредвиденной. Почему? Потому что война не только появилась в локальных областях или вдоль «линий разлома» религиозных и этнических идентичностей, особенно на несчастных землях несостоятельных государств, а велась сверху, со всеми изощренными техниками разрушения и убийства, которые избегают прямого применения так называемого «оружия массового поражения» (хотя его и держат про запас). Новизна также и прежде всего проистекает из того обстоятельства, что, с точки зрения политики, американское вмешательство означает революционное преобразование системы международных отношений и роли международных институтов, нацеленное на изменение закона народов. Это было справедливо отмечено Хабермасом, который выступает против этого, в ряде его статей и интервью (см.: Хабермас 2008). Думаю, нужно связать две черты вмешательства, которое также могло в обоих случаях служить иллюстрацией того, что я называю *заявкой на суверенность или верховную власть*, прослеживающейся в войнах или пост-войнах, которые теперь ведутся Соединенными Штатами. Суверенность — это не имперскость, точнее, это не империализм, но нельзя отрицать, что в американском вмешательстве содержится немалая доля империализма, а само оно, судя по всему, нацелено на разрешение экономических трудностей при помощи контроля над важными *реальными, а не виртуальными* ресурсами, которые невозможно деллокализовать, и на определение

условий на рынке энергоносителей при помощи развертывания системы военных баз в стратегическом регионе мира, который отличается крайней конфликтностью и антиамериканизмом. Поэтому суверенность и империализм могут частично пересекаться, прежде всего, негативно, в том, что касается устранения определенных врагов, но они также могут вступать в столкновение друг с другом. Суверенность или, скорее, заявка на суверенность, которая, как мы видим теперь, имеет мало шансов оказаться удовлетворенной, в этом случае должен пониматься в шмиттовском смысле «чрезвычайного положения», которое Джорджо Агамбен также просто и ясно объяснил как парадоксальную, возможно, несостоятельную позицию власти, которая одновременно действует *внутри системы и ставит себя над ней, в трансцендентную позицию*, тем самым воспроизводя и разрушая ее или соединяя оба вида насилия, названного Бенямином «мифическим» и «божественным».

Это можно проиллюстрировать следующими двумя примерами. Первый связан с тем, что Соединенные Штаты показывают неспособность международного органа, Организации Объединенных Наций, контролировать конфликты и применять одни правила ко всем агрессивным государствам в мире даже в схожих ситуациях (например, соблюдение резолюций Совета Безопасности Ираком и Израилем на Ближнем Востоке, хотя есть много других примеров). США не только обнажили это обстоятельство, но и активно способствовали тому, чтобы сделать такую ситуацию необратимой, прокладывая путь к воссозданию суверенной власти решать, когда и где должен быть восстановлен порядок во имя интересов мира. Надо признать, что эта заявка и эти действия заполняли пустоту, даже если сама эта пустота отчасти была следствием самоисполняющегося пророчества. Казалось, что Кофи Аннан всеми силами пытался заблокировать этот процесс, но потерпел неудачу и стал, пожалуй, последним Генеральным секретарем ООН в полном смысле этого слова.

Другой пример — это военное положение, которое связывает так называемую доктрину упреждающего вмешательства с попыткой предоставить неприкосновенность силам суверена до, во время и после их появления на локальном театре военных действий. Это напоминает выдающееся определение «войны» у Гоббса:

Ибо война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время должно быть включено в понятие войны, так же как и в понятие погоды. Подобно тому как понятие сырой погоды заключается не в одном или двух дождях, а в ожидании этого в течение многих дней подряд, точно так же и понятие войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном.

Неприкосновенность содержится в многочисленных системах защиты, в том числе юридической, о которой договариваются с международным сообществом, чтобы сделать американских солдат, подозреваемых в воен-

ных преступлениях, неподсудными Международному трибуналу, а также предполагается всей машиной технологического превосходства для ведения боевых действий без потерь, то есть когда одна сторона может убивать гражданских или военных, оставаясь при этом неуязвимой. Отметим, что, за некоторыми исключениями, это вновь имело место во время завоевания Ирака. Диспропорция между числом погибших и раненых с иракской и американской стороны остается огромной, и это является одной из причин, по которым мы не можем называть эту войну американо-иракской. И это делает обстрелы американских оккупационных войск во время партизанских или террористических операций, количество которых постоянно растет, особенно опасными для потенциального суверена⁴.

Эти черты, связываемые мной с понятием суверенности и описываемые в качестве реализации заявки на суверенность, не являются чисто идеологическими. Или, если угодно, они зримо воплощают материальность идеологии, которая обязана порождать вполне реальные следствия. Они создают парадоксальный эффект асимметрии в симметрии, который также можно истолковать, обратившись к понятию «терроризма», каким бы неточным и манипулятивным оно ни было, в том виде, в каком его использует американская администрация для объяснения своих беспрецедентных инициатив, и к понятию *полицейских операций*, которое уже присутствует в словаре международного права или, скорее, юристов, желающих до предела идею международного права, которое призвано предотвращать и подавлять войны или объявлять войны как таковые «преступлением». Обращение к оружию, к организованному и намеренному насилию, для проведения в жизнь национальных интересов равнозначно ведению войны и должно быть не просто запрещено — против него должны предприниматься превентивные действия. «Применение силы» или совершение «действий» в превентивных целях или для подавления тех, кто ведет или просто готовит войны, — это не еще одна форма войны; оно является или должно быть аналогом масштабной полицейской операции против преступников, если

4. Ко мне не раз обращались с просьбой высказать свое мнение о значении исламистских или националистических «террористов-смертников», которые, по-видимому, заменяют военную тактику самопожертвованием как средством уничтожения врага. Мне бы хотелось обратить внимание на два момента: 1) мне кажется необходимым тщательно изучить, если это возможно, генезис и обстоятельства применения такой тактики, в частности, чтобы не приписывать просто «отчаянию» или, наоборот, «религиозному фанатизму» то, что на самом деле стало *организованным* методом ведения партизанской войны; 2) существует, мягко говоря, пугающая симметрия между двумя методами «боевых действий без боя», когда одна сторона (США, но также — с учетом всех различий — израильская оккупация в Палестине) стремится (или пытается) *устранить риск потерь при уничтожении врага*, а другая сторона (аль-Каида еще до 11 сентября, но также — с учетом всех различий — силы сопротивления в Ираке и, возможно, палестинские террористы-смертники, которые, как кажется, несводимы к этой модели) *готова идти на потери, лишь бы добраться до врага*. Помимо неизбежного упоминания о неравенстве сил, я склонен видеть здесь миметическое замыкание круга в пространстве, которое я называю «заявкой на суверенность».

не брать в расчет того, что преступниками являются коллективы, государства, международные организации и так далее. Единственная проблема, как известно, в том, что «полицейская операция» в традиционном смысле должна проводиться под руководством государства, имеющего юридическую власть над данной территорией и населением, которой ни ООН (больше), ни какая-либо «суверенная» держава (еще) не обладает. В результате, операции, предпринимаемые против «терроризма» или его сторонников и пособников, обычно вращаются вокруг понятия войны, склоняясь к *полицейским*, но также к *контртеррористическим* операциям и *государственному террору*. Их можно понимать как единичное проявление новой регулирующей силы или как наглядный пример преступных действий на международной арене. Этот парадокс также можно описать как появление неподатливого «пространства», которое не является ни полностью внешним, международным, ни полностью внутренним, национальным. Парадоксальным образом это состояние не так уж плохо вписывается в посткантианскую идею «глобальной внутренней политики», которую Хабермас развил в своих статьях о «Постнациональной констелляции» и которую другие правоведы (Ферраджоли) пытались осуществить на практике, настаивая на важности всемирных трибуналов и призывая к их всеобщему признанию (см.: Ferrajoli 1995). Ирония в том, что глобальная внутренняя политика сосредоточена не на постнациональном правопорядке, а на изобретении революционного применения суверенного насилия, которое утверждает превосходство войны над правом, хотя и в совершенно новой форме. Вся загвоздка в том, что это применение остается достаточно близким к его традиционным моделям и потому с высокой степенью вероятности породит «трения», которые жестко ограничат его жизненные перспективы.

Перевод с английского Артема Смирнова

ЛИТЕРАТУРА

- Арон, Р. *Clausewitz: Philosopher of War*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Borradori, G. *Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jiirgen Habermas and Jacques Derrida*. Chicago, IL: Chicago University Press.
- Ferrajoli, L. *La sovranita nel mondo modemo*. Milan: Anabasi.
- Kaldor, M. *New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Terray, E. *Clausewitz*. Paris: Fayard.
- van Creveld, M. *The Transformation of War*. New York, NY: The Free Press,
- Wright, Q. *A Study of War*. 2nd. ed. Chicago, IL: The University of Chicago Press. (8th. ed. 1964)